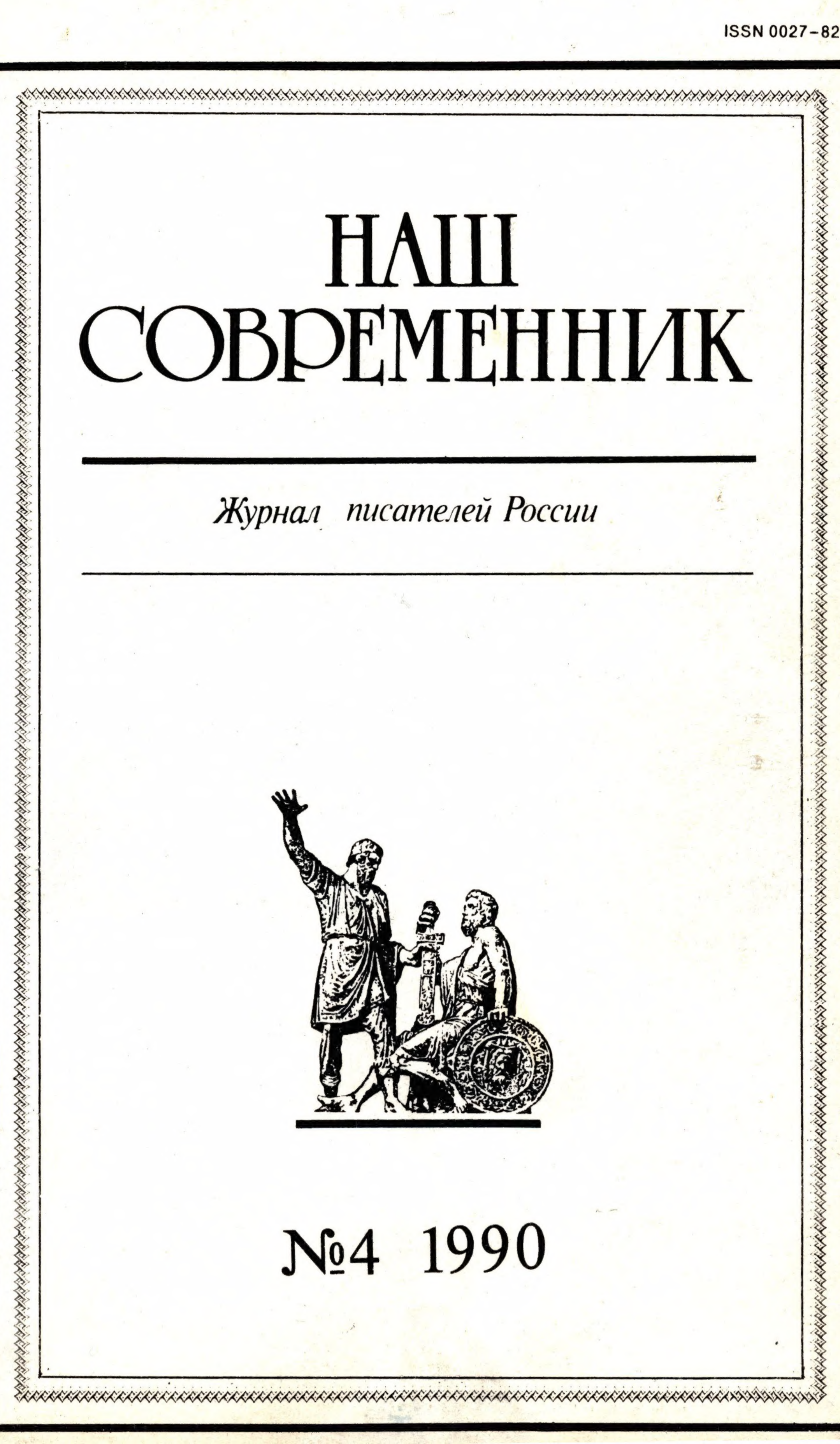
ISSN 0027-8238



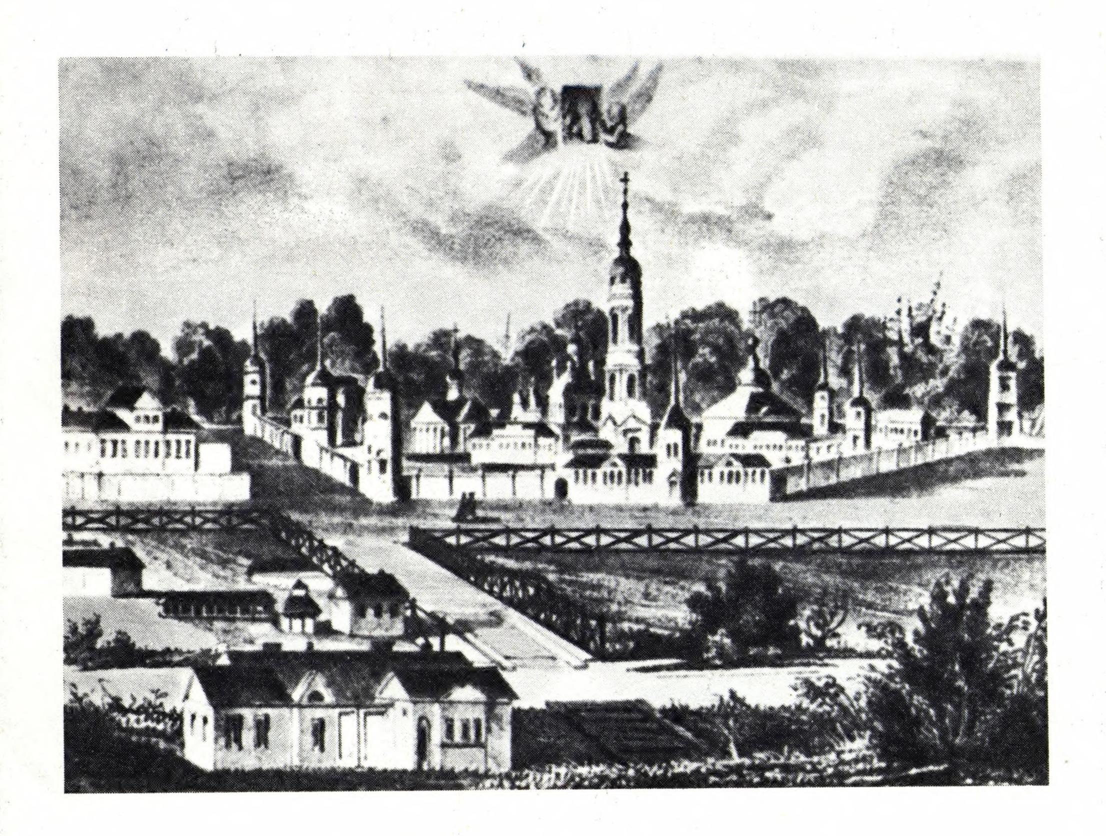
НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№4 1990

С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ,

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!



Оптина пустынь.

Об Оптиной пустыни читайте на стр. 119 и 191–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№4 1990

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание



Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректор **М. И. Кононова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-23-88 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем)

Сдано в набор 14.02.90 Подписано к печати 23.03.90. А00831
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Печать высокая
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24; Уч.-изд. л. 19,74. Тираж 487 868 экз. Заказ 142.
Цена 80 коп.

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда» 123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

22

Человека, долго переносящего невзгоды, опасности, как бы он с ними ни сжился, как бы ни запретил себе думать о жребии ином, — неприметно для него самого истомляет тяга расслабиться, тоска испытать сочувственное внимание да и оценку своих заслуг. Даже мальчишка, целый день пролазавший по деревьям, пробродивший раков, требует вечером у семейного стола такого признания и удивления. И самый молчаливый терпеливый труженик после дня, недели, месяца нужи и стужи ждёт признания и заботы хотя б от единого человека — от своей жены. Тем более дуплится такая телесная и душевная нехватка в нутре фронтовика, всякий день не уверенного даже в длении собственной жизни.

Воротынцев, постоянно стянутый на делаемое дело, сам не предполагал, до чего уже подкатила в нём такая жажда. Растянясь на полке обыкновенного — во всём необыкновенного! — мирного вагона из Киева в Москву, предпочувствовал он в себе всплеск этой жажды. Но дома, в Москве, где естественней всего было её утолить, покатилось нестояще, и не открылось рассказывать своё заветное. Кое-что внешнее, с краю, обломил в вагоне Фёдору Ковынёву. Ехал в Петербург — а найдутся ли здесь заинтересованные, требовательные, понимающие люди, чьим центром проверяющего и благодарного внимания он усядется и отдастся рассказам? — сам страдая снова от сути их и сам наслаждаясь, как освобождаются ноющие кости от пространданного в глухоте, как оправдаются заклятые военные неудачи тем, что это дружественное общество на жилке ума воспримет их и переработает?

И вот на Монетной, на пятом этаже, как будто сошлось такое общество, и намерены были слушать его, и задавали вопросы, — да может быть только из вежливости, а на самом деле зачем им слышать, когда все интересы их — партийные? От послу́шанья их самих что-то опала

Продолжение. Начало в №№ 1—3 за 1990 год.

охота высыпать тут своё сокровенно-горькое, загубливалась возможность рассказа и здесь. Ведь *эти*, пока не было войны, над военными смеялись, вот уж не стали бы слушать. Пока Воротынцев сверх Академии набирался артиллерийской тактики на лужском полигоне, да иппологии, да вольтижировки, — *эти* считали «патриот» позорной кличкой. Где-то, может быть, на другом этаже другой улицы сейчас собрались те, кому Воротынцев вёз ворох своего наболевшего, — да как найти их!

Да вообще всякое внутренне-несомненное теряет в звучании, в громком назывании, в пересказе, и лишь между близкими вполголоса передаётся верно.

Так что лучше бы всего Воротынцев сегодня ничего бы не рассказывал. Но отчасти неприлично было отказаться, все ждали, и особенно перед Шингарёвым как же? С Шингарёвым они начали, не договорили — ему-то и надо было выразить дополна. Шингарёв очень тронул своим задумчивым воспоминанием о Столыпине. Его открыто-восприимчивое лицо, его незаграждённый взгляд ждали узнать. А внезапная стычка о Столыпине дала Воротынцеву взбодриться — и он настроился к этому обществу не снисхожденья просить, а вызывающе, — и швырнуть им, чего на самом деле эти вещи стоют, о которых они так легко рассуждают, в своей воинственности несравненной, в своём нечувствии. А и Верочка ничего не слышала толком, и ей отдельно он не соберётся рассказать. Но и это б всё ещё не сложилось в нём до конца — не появись тут эта маленькая профессорша в кружевном воротничке, однако с мужским пожимом маленького лба — и неотрывно-одобрительным взглядом к полковнику.

И эта профессорша — окончательно перевесила, неизвестно почему: они и словом не обмолвились, и не просила она его ни о чём. От одного только присутствия её вдруг стало Воротынцеву свободно, уместно и нужно — вот именно здесь сейчас всё рассказывать. Вот именно тут-то его и ждали!

А тем временем все и пересели, приготовились. Павла Николаевича больше не ожидали, а Минервин остался послушать полковника.

Но — как отбирать? но что рассказывать? Что в его фронтовых днях было воистину главное, даже кричало, с полуслова понятное товарищам по полку, — здесь, в просвещённом кадетском обществе, выглядело бы эпизодами мелкими, бессвязными, пожалуй даже свидетельством неспособности обобщать. Как *отсюда* видится — война до того долга, однообразна, заколеблена в малых пределах, что только и можно её воспринимать в самых общих чертах. А обобщи, посвязней и повыше, так ничего и не останется, так наверно им и из газет известно.

Но полковник как раз с румынского фронта. Все фронты застоялись, а этот один действует — так что там?

Румыния? Вот потому немцы туда и ударили, что новый, открытый и незащищённый фронт. 300 тысяч войска — а посыпалось как гнилая труха. Румынскому королю неймётся Трансильванию захватить, но со спины боялся Болгарии и долго договаривался, как союзники от Салоник начнут, а мы через Дунай в Добруджу. Союзникам что ж: лишняя страна — гуще свалка. (Впрочем, *здесь* о союзниках поосторожнее!) Но у нас — где была голова? Все твердят, что успех нужен на главном фронте — а движемся на второстепенный. Кто-то думал тем усилиться, пододвинуться к Босфору. А пошёл Макензен через это королевство маршем да нашу Дунайскую армию и подвинул наоборот, от Босфора подальше. Забрали немцы румынскую нефть, забрали лошадей. О румынском участке? — пересказать нельзя, представить невозможно! Назвать бы опереттой? — так слишком кровавая, слишком много маршевых рот мы гоним туда на затычку. А послать нам туда надо не меньше четверти миллиона. А железные дороги их ничего не пропускают, даже нормальных санитарных поездов — и отправляем раненых в товарных вагонах из-под прибывшего провианта. Или в дачных вагонах, без убор-

ных и с выбитыми стёклами. А в устье Дуная ещё и холера. На днях вот Констанцу сдали.

Да не ждали от него рассказа свободного, как ни сложится, что на себе ни вынесет, ждали подтвердительных фактов к уже известному, в Петрограде лучше всего, смыслу: что неисчерпаема, нескончаема, непробиваема тупость Верховной власти и Верховного Главнокомандования, но неизменен, светел и несокрушим дух русских воинов, простых солдат и офицеров, на которых и может полагаться в своих расчётах либеральное передовое общество. И о Румынии, и о Галиции ждали от него не столько живых картинок с чёрными фугасными столбами и лошадьми вверх копытами — а таких эпизодов, чтобы на светлом фоне народного героизма выступали бы чёрными заляпами ошибки только самого Высшего командования и особенно министров, которые всё и губят, и посему с этой властью нельзя победить.

Так и для самих армейцев это было самое естественное направление срывать досаду! Кого ж и ругали в офицерских землянках, если не тыл, не Ставку, не штабы фронтов и армий, не корпусных и не дивизионных! Такого — сколько угодно мог Воротынцев рассказать.

Хоть и с того, что 1914 год мы начали даже без наполеоновской нормы — 5 орудий на тысячу штыков. Да на первые недели, на предстоявшую тогда трёхмесячную короткую войну мы гнали полки в переполненном составе — в роте по 4 офицера, фельдфебели на взводах, сверхсрочные старые унтеры в строю за рядовых, — а потому что на унтеров в мобилизационном плане даже не было отдельного учёта, так работало сухомлиновское министерство. И в те первые месяцы столько выбито унтеров, что вот третий год соскребаем кое-каких, подучиваем неумелых — командовать и вовсе неумелыми солдатами, ратниками да ополченцами. И кадровые офицеры тоже выбиты на три пятых, да одна пятая прикалечена, и разводнены морем прапорщиков-разночинцев, осталось кадровых в полку по пять-по шесть, как воевать? На ротах и батальонах — подпоручики, а то и прапорщики.

А эти новые прапорщики? Чуть грамотен, кончил-не кончил городское училище — за 4 месяца становится «их благородием». И иной понимает, что ещё не годен, и старается учиться, а другой возомняет, распоясывается, показывает свою власть над солдатами. От таких «народных» прапорщиков не сблизились офицеры с солдатами, но расчуждились.

А как присылают пополнения? Московским округом, хорошо известным Воротынцеву, стал командовать надменный генерал Сандецкий. И владела им дичь недоучивать новобранцев, как можно больше и скорей посылать на фронт необученных солдат, не умеющих ни стрелять, ни вперебежку. И особенно люто он изгонял на фронт недолеченных офицеров, где они и воевать не могли, а домирали от своих болезней. Врывался на медицинские осмотры и вмешивался. Вот один случай, не попавший в газеты лишь от того, что пострадавший смолчал. Освидетельствовался офицер, у которого от ранения были скрючены на правой руке четыре пальца. Комиссия постановила уволить его от военной службы, Сандецкий возмутился, приказал офицеру положить больную руку на стол — и трахнул по ней кулаком изо всей силы. Все четыре пальца — сломал, офицер лишился сознания.

Оживлённый переполох. Вот это попадало слушателям в цвет и в потребу. Что ж, клюйте. Всё — именно так, увы, и никуда не денешься. Говорят, великая княгиня Елизавета Фёдоровна стала обличать Сандецкого, но её отношения с царственной сестрой испорчены, а тут Сандецкий стал её самоё травить в Москве как немку. В конце-то концов Сандецкий ушёл — но куда? на Казанский округ, не много потерял, и мы не выиграли. А на Московский назначили Мрозовского — не такого бешеного, но такого же тупого.

Сколь многие в России заняты не службой, а личным благополучием. Высокие штабы — преувеличенно множественны, даже преобилие

переписки, личных адъютантов, офицеров для связи, лишних экипажей, досуг, еда, питьё, карты, а штабная угроза: в окопы пошлю! Вот картинка: при Гвардейском корпусе в вагоне живёт великий князь Павел Александрович. Жаркий летний день — крыша вагона покрыта дёрном и два солдата поливают её из леек. В таких штабах и планируют вялые операции, где губят по 50 тысяч человек, и такая мелочь в историю не записывается.

А — покрупней? Хотя бы всё та же Восточная Пруссия. Разве самсоновская армия — это всё, что мы там положили? Да в Пруссии с тех пор ещё несколько катастроф. Ренненкампф, на помощь другому медлительный, вскоре и сам уносил ноги из такого же мешка, да проворно, и орудия бросал. И ту же Вторую армию, только что снова сформированную, в тех же месяцах едва-едва не отдали под Лодзью в такой же мешок. (Кстати, это мы опять торопились спасать французов, теперь на Изере...) А затем—снова дважды на Пруссию, по тем же несчастным дорогам, с юга и с востока, ничего не изменив ни в тактике, ни в вооружении, опять мы напирали толпой, всё думая взять числом, напирали на свою повторную и третную гибель. В ту зиму растрепали в Пруссии 10-ю армию — положили 20-й булгаковский корпус, уж не считая отдельных полков. Так три раза совались мы в Пруссию неготовые, чтобы только выручить французов!

И за всё то... за всё то... Ну, тут все знают и подсказывают. Рассыпано много наград высшим генералам. Вытащен из старья Куропаткин — на Гренадерский корпус, а там и на Армию, а там и на Фронт. Окостеневший генерал Безобразов, приятный Двору, вместе с Брусиловым перемалывает гвардию, но не спускается ниже корпуса. Как и генерал Вебель, не вылезающий из поражений. Как и генерал Раух: в Пруссии опозорился с кавалерийской дивизией — за это получил конный корпус, отобрал у него Лечицкий корпус — вознаградили Рауха от Верховного Гвардейским корпусом, а этот послал он на Стыри по болотам, австрийцам даже стрелять не пришлось, тонули наши и так. А Жилинский, это вы знаете, стал полномочным русским представителем при французской главной квартире. А Артамонов, погубивший самсоновскую армию, вышел из-под следствия чист, и Николай Николаевич поздравил его поцелуйно. И когда взяли Перемышль, то в череде празднеств не нашли коменданта пригожей Артамонова. А он, упустивши 20 тысяч пленных и сдавши крепость противнику, стал законно ожидать нового назначения.

А сколько имён неизвестных, тупых морд, забывшихся в своём чине, не проразумляющих, что такое долг. Какой-нибудь генерал Гагарин, командир Заамурской конной бригады, в пьяном виде изгаляется над своим командиром полка: «У вас нет пулемётов? Так вы пошлите две сотни атаковать австрийцев — и отберёте у них пулемёты!» А у каждого такого — тысячи в подчинении, и они их кладут, и беззвестно.

И не смерив первого военного полугода, всей невозвратимой потери офицеров, унтер-офицеров, кадровых солдат, истощения снарядов, даже нехватки винтовок, постоянного превосходства немецкой артиллерии — и в численности, и в калибрах, у нас почти только трёхдюймовая, у них много тяжёлой, — ничего этого не смерив, не оценив — к первой военной весне кроволитно потянуться в скалистые проходы Карпат, чтобы их переваливать в Венгрию. И при этом — даже не прикрыть как следует фланги наступающих корпусов.

Карпатская авантюра! — она жгла сердце чуть не ярей всего. Как невыносимо вспомнить: после взятия Перемышля — не сметя сил, попёрли, попёрли через горы, какие кручи одолевали пушками, брали штурмом перевалы, — какие рывки! какие потери! сколько крови!! И всё — зря!! Вот, развернулась Венгерская долина, только спустились — и тут же приказ: отступать! И с какой поспешностью, на те же опять кручи пятясь, заклиниваясь в ущельях, — какие потери опять!.. Списывали полк в один час... Таяли целые корпуса... Карпатские ущелья — кладбища удальцов...

Тем особенно невыносим приказ с далёкого верха, что необходимости его не знаешь, глазами не видишь, а только: зачем?? зачем же мы туда лезли?

А смахнул все наши Карпаты — макензеновский прорыв под Горлицей. От прорыва под Горлицей и покатилось всё великое отступление Пятнадцатого года — без снарядов, от современной армии отбиваясь штыками, а где и чуть не дубьём. Начальник дивизии благодарит командира батареи за отличную стрельбу и тут же грозит отрешить за перерасход снарядов. Отходили ночами, когда немцы отдыхали, отходили и среди бела дня, то и дело в угрозе окружения, а немецкая артиллерия молотила по нам. (А ещё ж, не забудьте: отдаём хлебные зрелые поля, и рядом тащатся вереницы беженцев в лохмотьях, с покорными взорами, их скарб щемящий на телеге, а лошадь падает — и слёзы над ней, и холмики похороненных детей.) Уходили из Галиции уже и без патронов, никак не отвечая. Пополнения, едва выгрузясь из вагонов, тут же попадали и в плен. Аэропланы в небе — только немецкие. И как мало бы этого всего — тогда ж пустили немцы на нас и газы, и морили сразу тысячами — в зелёно-жёлто-серых мертвецов, с выкаченными глазами, вздутыми животами, всё в той же Второй армии — 9 тысяч отравленных с одного разу. А мы — совсем не ожидали, совсем готовы не были, защищаться нечем, марлевые повязки на рот? целлулоидовые очки на глаза? — все гибли. И вся наша поздняя выдумка: зажигали хворост на бровке окопа, чтобы пламенем перекидывало газ через окоп.

Прежней русской армии, избывающей солдатским здоровьем, какая топала в Четырнадцатом, — её уже в Пятнадцатом не было. Вот так она руководилась Верховными. (Это — здесь хватают.) При спокойном бездействии благодарных союзников, жалевших для нас даже винтовок. (Ах, пардон, про союзников здесь нельзя, это — уже никому, никак не в цвет. Такое — нигде вслух не говорится, не называется.)

— Позвольте, но — как же тогда...

Мы и Шестнадцатый год начинали — ещё с тысячами безоружных в строю, лишних. Надаём таким сапёрного инструмента да ручных гранат, и вот — «гренадеры»...

— Позвольте, но как же тогда брусиловский прорыв?!

Дался им этот брусиловский. И прорыв этот, господа, а особенно его развитие, — не так уж славен. Два месяца густых боёв, крупных потерь — а взяли уездный Луцк да несколько заштатных городишек. Это не наступление, когда толкают, а не охватывают. Никакого решительного результата, вслед за тем мы и отходили. Весь успех Брусилова ничего не стоит, если посчитать, сколько он в последующие месяцы потерял, за четверть миллиона наверно. Этот прорыв как раз и показал, что наступать мы не умеем и сегодня. А сколько — глухих беспросветных наступлений, даже названьем отдельным не отмеченных? — в этом марте, к началу распутицы, у озера Нарочь, например?

Нет, господа, пока что совершённым в этой войне — России не похвастаться. Разве это — достойное ведение войны? От такого гиганта да при напряженьи всех сил — не такие бы успехи ждались.

Тяжёлая заминка в гостиной.

Да легко рассказывать, злорадно слушать о бездарности и путанице *верхов*. Но — сам ты? и кто из нас склонен рассказывать? — о путанице рассыпанной, а не менее губительной, об ошибках и несовершенствах среднего и малого боя, чем и наполнены будни. Неудачи местных боёв скрываются от соседей и от начальства, о них и не узнаёт никто вообще. Скрывают свой отход, подводя соседей. И в донесениях — «потери выясняются», когда уже знают их, но надо скрыть. Или «с боем взят», когда без боя (и «в моём присутствии» — значит, мне награду). Или рапортуют о вовсе не взятом.

Или к бою пришлют несколько ящиков гранат, а ящик с капсулями забыли в штабе. Значит — без гранат.

Или идём в атаку, даже не зная позиций противника — не сфотогра-

фировав с воздуха, не зарисовав с земли. Потому что атаки бывают — и не для прорыва настоящего, и не отвлеченье с другого участка. Атака — для отчёта перед начальством. Просто — посылают Елецкий полк и устилают им высоту.

А вот мортирный дивизион и полк полевой артиллерии после долгого голода получили снаряды и жарко бьют по деревне, которая у немцев. Телефонная связь прервана, с опозданием прибегают от пехоты ординарцы: да сучьи дети, вы одурели? Мы эту деревню ещё ночью прошли, мы уж в трёх верстах западней её бьёмся!

А другой раз вот так же — не по пустой деревне, а по своей передней пехоте или по своим разведчикам.

Или: роет, роет полк окопы и узнаёт, что выкопал — *позади* другого полка.

А это работа — рыть, да зря. Фронт состоит из работы и терпения ещё гораздо больше, чем из боя. Окопы — ведь это открытые ямы, и от дождей в них — всегда вода, а в землянках и в блиндажах всегда сырость. И это счастье, если есть чем их перекрывать, а в безлесной местности приходится сидеть на позициях необорудованных, или за 10 вёрст, не преувеличиваю, носить на себе брёвна пешком, и будешь носить, чтобы жить остаться. И каково узнать, что позиция оборудована «не там» — по ошибке начальства или по смене обстановки, — и надо переходить на новое место — и лес переносить на себе опять? Все инженерные работы делает сама пехота. И столько достаётся солдату ходить, что не хватает никаких сапог, изнашиваются до бродяг, плетут на замену лыковые лапти. Отдыха — никогда. Отводят в дивизионный резерв, но роты всё равно ходят еженощно за 6-9 вёрст на сапёрные работы в темноте. Так что солдат, прибывших необученными, — некогда и обучать. И до того уже находятся и натрудятся, что сама позиционная война кажется отдыхом. Но окопы — хорошая неподвижная цель, и в самый средний день относим по нескольку, накрываем шинелями, а зарыть в темноте.

Да и батарейцам — когда в зарядный ящик надо подпрячь десять коней, а то не вытянешь. Да и нам — когда грязь прилипает к ногам пудами, а надо — в перебежки. А там, в конце, вдруг окажется, что в проволочных заграждениях проходы сделаны — недостаточно широкие. И — толпимся на перестреле.

Или в горах — наступленье по пояс в рыхлом снегу. Раненые так и тонут.

Война — она идёт третий год, и за это время в разных местах отечества разные люди успевают и привыкнуть, и пожить, и поузнавать о событиях, и порассуждать о будущей победе, — а какому-то батальону или полку вдруг остаётся всей жизни — один-два часа. Присылают команду — атаковать, и непременно в лоб, и непременно через большое открытое пространство, и хорошо, если в атаку поднимают бежать не за версту. Другим — запасной час для проходки, занять чужой незнакомый участок, лишь оттуда атаковать. И вот этот час последней проходки, когда не отвлечёшь себя никаким ложным занятием, никакой посторонней мыслью, — а все дружно шагают к тому месту, где из каждых пятерых четверым придётся лечь, и только одна у каждого надежда — быть пятым. Нудная знакомая тоска. Да расчёт сколько-то пожить-полежать во время нашей артиллерийской подготовки, если она ещё будет. Как долго будет помнить жена, и вспомнят ли малые дети?.. А вся ваша атака, может быть — для демонстрации, боковая диверсия. А до противника — три четверти версты открытого снежного поля, чернеет его опушка леса, и там, под издых, у него конечно всё заплетено колючей проволокой, а прежде того — ни укрывьеца, и только надежда, что снежная пелена где-то скрывает и увалы, где-то можно будет провалиться с его взора и прервать атаку. Поползли вперёд разведчики и гранатомётчики — а дивизия звонит: почему батальон не поднят в атаку? — Надо переждать, пока они... — Приказано не ждать!

И эта виноватая прибитость пехотного офицера, не могущего не подчиниться. И прибитость лежащих пехотинцев, пока предсмертная их тоска не взорвётся в бодрящий отчаянный ужас атаки.

И никому бы не приведи Бог слышать это беспомощное жалкое «ура» из боевой кромеши — крик не торжества, но отчаяния, вымученный в перебежке. А снег усыпан, как мухами, упавшими людьми — и кто тут уже убит? а кто только пережидает? И только те тебе кажутся уцелевшими, кто достоверно с тобой рядом, остальные убиты.

Под Коломыей Заамурскую пехотную дивизию, в ротах по дюжине старослужащих, остальные неопытные бородачи-ратники, — так вот погнали в лоб на укреплённые позиции — и всю расстреляли.

Да ещё эти *крестики* на фуражках, беззащитные ополченцы,— сколько их положили!

Да бегущий в атаку хоть имеет утешение в выборе остановок, может обманывать себя зигзагом направления, кочкой, камнем, даже пучком сухой травы. Но телефонист, посланный исправлять линию под обстрелом, лишён и этого самообмана: его провод — его судьба.

Случаев всех не зарегистрирует история, не сохранится на все и участников. Да тому, кто способен понимать, не надо рассказывать ни всё, ни много, — тому довольно об одной деревне Радзанов, о высоте 58,6 с прекрасным обзором, укреплённой рядами колючки, которую разрушить ещё не было снарядов тогда. Ещё и подходы болотисты. Но пехотному полку приказано — взять! Командир полка находит невозможным и просит приказ отменить. Штаб дивизии настаивает. Выхода нет. Утром — атака. Потеряли триста человек, среди них — невосполнимых офицеров. А через несколько дней встречаются офицеры-драгуны — их полк на этом участке прежде был, уходил, вот вернулся. Рассказывают: так же без артиллерии эту же злосчастную высоту 58,6 они уже брали — и в конном строю, и в пешем, потеряли семьсот человек, не взяли. Мы — уходим. После нас против Радзанова ставят третий полк — и опять на ту же высоту.

Это называется — *мертвоприношение*. И навидавшись его достаточно, даже теряешь достойное уважение к ране, к смерти, к трупу. Совсем обыденно воспринимаются и окровавленные фуражки на одиноких крестах, и над целой братской пехотной могилой воткнутая сапёрная лопата — «солдаты такого-то полка». Как убитый лежит на боку и подвернул окровавленную голову под руку, будто ему холодно. Или — как отпевают скрюченного, не снимая с носилок. Ещё обыденней — полудюжина раненых в телеге с наставленными боками — как их перетряхивает, переламывает, выставлены и качаются толсто-обинтованные берегомые конечности, а из глубины — глаза, уже знающие своё непоправимое увечье, — вы такую картинку, господа, всё же поимейте в виду. И не все доедут до правильной перевязки без столбняка и гангрены.

Или поручают казачьему полку брать австрийскую крепость, на подходах во много рядов оплетенную колючей проволокой. Но во всём полку — десяток ножниц. (Их всё никак не наладят изготовлять: военное министерство не убеждено, не подсчитало. Сколько лишних солдат уложено из-за того, что ножниц не было!) Так как же? Шашками. Значит, с коней не слезая. А значит — ночью. «С Богом, ребята, вперёд!»

Не всегда неудача. Иногда и в январской воде по пояс, винтовки над головами, — атакуем пулемёты, и берём! Так — Сан переходили.

А иную позицию — взяли! Победа! Ликование. Вдруг — необъяснимый приказ: отойти на прежнюю...

Зачем же?! Зачем же брали? Зачем не подумали?..

Всю эту пирамиду награждаемых, возвышаемых, неотклоняемых генералов ты держишь на своей голове, как восточная женщина кувшин воды. Кажется: командир полка, и твоя голова свободна принимать решения? О нет! Почти нет движения скованной шее. И за малое самовольство, за отход на сто саженей вызывают в штаб корпуса для дачи показаний о *недостаточно доблестном поведении*... Кто перемёт, кто

перечувствует эту зажатость нелепым, непоправимым приказом?! Ты видишь в нём ошибку, просчёт, злую волю или пренебрежение — но ты скован, и честь, и гордость, и военное подчинение не позволяют тебе возразить. И в день последний, перед завтрашней твоею смертью, даже и некому переповедать, как это было.

Молоденькие гвардейские офицеры, собравшись, ищут форму протеста: господа! пойдёмте в безнадёжную эту атаку одними офицерами, а солдат не поведём!..

Или вот: не устаивал Рыльский пехотный полк на Стрыпе, выбит, подавлен. Надо спасти их, а нечем. Есть — драгунский Каргопольский полк. Как раз у них праздник — юбилей полка. Всю войну и близко не подвозят водку на позиции, даже и в морозном сиденьи выжимают трезвость. А тут — раздобыли драгуны, выпили, песни запели. Дело к закату, а подъехал начальник дивизии: «Будем рыльцев спасать, ребята!» И понимая, какая то будет атака: «Каргопольский полк умереть не должен! От каждого эскадрона оставить на развод по одному офицеру и по десяти драгун!» Жребием... На прощанье обнимались. Впрочем, хмель ещё в голове, ноги лёгкие. А тут стемнело. И по полю, покинутому пехотой, изрытому окопами, ячейками, воронками, опутанному колючкой, где и днём-то без ножниц не пройдёшь, тем более не проскачешь,— в темноте и молча пошли на рысях!! («С Богом, ребята!») Проваливались в ямы. Ломали ноги, рёбра. Опрокидывались. Повисали на проволоке. Ночная скачка в жуть, и лошади страшней, чем человеку, не зная опоры следующей ноге. Немцы заметили — поздно. Ракеты, прожекторы! А каргопольцы — на галоп!! И от прожекторов — растущие тени по полю и по небу — привидения!!! Кто — в опрокид, кто — растёт и близится! И немцы — не выдержали, бежали! Победа...

От боя бывает такое обалдение, во взятой горящей деревне, где ещё немцы на другом конце, солдаты стоят кучками, курят, не предохраняются, не слушают своего офицера — залечь, он силой по одному бросает их на землю.

Хуже всего, что укореняется и так уже всеми и принимается: чем больше потерь, тем, значит, лучше был бой, тем больше и начальства представляется к наградам. Даже когда и можно атаковать в обход — нет, гони через трясину! Командир 49-го казачьего полка радостно доносит штабу походного атамана: «Сотня шла на укреплённую позицию по открытой местности, под обстрелом и в конном строю. Надо было удивляться геройству этой сотни, шедшей по приказу на верную гибель — из преданности престолу!»

Вот от такой бараньей преданности мы и изливаем нашу силушку.

Да если мерить по презрению к смерти, то героев доподлинных много больше, чем этих фотографий во всех журналах вместе — «Воины благочестивые, кровью и честью венчанные» (у кого расторопней родственники), и много больше, чем отсыпанных георгиевских крестов. Осколком раненного в живот ведут под руки двое легко раненых, он бредёт согнувшись, придерживая двумя руками живот. Из встречной резервной колонны горько-весёлое подбодренье: «Неси-неси, не растеряй!», — и он находит отозваться: «Донесу, чай своё.»

В полку приходится устанавливать очередь наград, часто опуская истинные заслуги, хоть и не приведшие ни к какой победе, а в поражениях храбрость ещё разительней. Когда в полку из двух тысяч штыков осталось триста, и смены нет, и предупреждают — несколько дней не будет, но начальник дивизии уверен, что полк выполнит свой долг, позиции должны быть удержаны. А в штабе дивизии, в штабе корпуса перечёркивают и посланные наградные, оставляя место для Руководства да для писарей.

Да в победе и рана, и смерть легче, горчей — в бестолковости. Этим летом в одном полку наметили применить газы: с полночи трижды, через час, выпустить на немцев по 100 баллонов, а затем атаковать. Но завозились, первую волну пустили только в 3 часа ночи. Немцы об-

наружили — ракеты, сигнальные трубы, рожки, чугунные доски, разожгли костры. Тут наша метеостанция доложила, что ветер становится неустойчив, — но начальник дивизии приказал пускать вторую волну. И — подтравили соседний полк, выдвинутый вперёд. Стало с ветром ещё хуже — а приказали третью волну. Эта волна прошла немного, остановилась — и хлынула назад на свои окопы. А ещё: баллоны должны выноситься вперёд окопов, а шланги — ещё вытягиваться в сторону противника, но тут вопреки инструкции баллоны оставались в окопах, а шланги — на козырьках, а немцы открыли по нашим окопам сильный огонь и перебивали их, — паника, надевали противогазы впопыхах. Братская могила на 300 офицеров и солдат. Мало облегчения, что начальника дивизии отрешили.

Кто ранен — это Шингарёв. Во всю грудь он принял рассказ и выдвигается, как те несчастные, на укреплённую позицию без ножниц и не в обход. Откатясь на руку, облокоченную о стол, — высматривает меж тёмными глыбами светленьких зайчиков надежды.

И ещё какой-то появился в комнате новый: с неусыпаемым тревожным лицом, нервными бровями. Так и вонзился в рассказчика.

Но — и нельзя на себе не заметить несводимого переливчатого взгляда профессора Андозерской. Как будто в жизни не видела военных, он — первый. Весь рассказ его вбирала неприкрытым взглядом, не возразя ни движением губ, ни бровей против самых его резких и неожиданных слов. Очень свободно для неё рассказывалось.

Да и Веренька — неподвижна, мила, тиха, вся — в глазах. С детства слушать умела, как никто.

Но — *дух*? но—дух нашей армии сохранён же? — безмолвно горят глаза Шингарёва. Какая же страсть и взмыла его от сельского врача до первого парламентария? Если ему не верить в наш благословенный народ, если ему не верить в новоживотинцев, попавших на фронт, — для чего же тогда вся деятельность его? и вся Дума? Бывший врач теперь считает пороховые заряды, таксирует цены на хлеб, в Сорбонне и Оксфорде произносит кипящие речи от имени целой России, — но лишь пока он верит, что не расколется и не затмится *дух* новоживотинца.

Он — спрашивает. Но уверен, что знает ответ и сам.

Дух?.. Когда полки бывают по 300 штыков, а дивизии по 800? Когда вид выжженных деревень и костры из деревенских заборов уже не трогают даже крестьянского сердца? Но ищут, как уклониться от боя,— хотя бы раненых сопровождать? Или подстрелить пальцы? А каково непомерное множество пленных? Разве вы не знаете, господа, что мы уже отдали пленными больше двух миллионов? Чем дальше в эту войну, тем легче сдаются наши солдаты в плен, — рады, что живы останутся. Даже служат у немцев обозными, при пекарнях и кухнях. Впервые в эту войну то генерал Смирнов, то какой другой, издают приказ: по сдающимся открывать огонь, расстреливать забывших присягу; сообщать о сдавшихся на родину, дабы прекратить выплату пособия семье; по окончании войны все сдавшиеся в плен будут преданы суду. Конечно, никто нигде ничего подобного не осуществляет — но и самих приказов таких не знала прежняя русская армия.

Нет! Верней и точней! — остёр через пенсне находчивый думский фехтовальщик Минервин: *воля к победе* — ведь не утеряна? Веру в победу — ведь сохраняет армия? Рядовой солдат? И вот, полковник?

Экий же поворот... Когда мы горбимся в осклизлых окопах, отираем глину шинелью, или 48 часов на морозе, не спавши, в пулемёте смазка мёрзнет, надо греть его на огне, — у нас там общая фронтовая обида: *они* в России забыли нас! Такая затяжная война, кого не потянет отвлечься в мирные удовольствия, в рестораны, в элегантные туалеты. Шлют нам в утешение кисеты и конфеты, а сами...

Но нет! оказывается — не равнодушны! Даже: дайте победу! Даже: где ваша воля?.. И надо бы броситься к ним в обнимку: а мы-то грешили на вас!..

Но, по дурному ли свойству человеческого сердца, обида не рассеивается, она остаётся, лишь поворачивается вокруг своей оси: господа либералы! господа русское образованное общество! (Это — не вслух.) Могу ли я верить? Да может быть я ослышиваюсь? Да всего 12 лет тому назад чей же это был крик, чей же это был вопль, что не нужна великой державе война, что преступно посылать на бойню нашу бесценную молодёжь с общественными идеалами? Что есть проблемы только внутренние, а снаружи можно хоть отступить, хоть проиграть, да поскорее! поскорее!! Из-за кого же мы проиграли ту войну, и чьи нервы, если не ваши, так поспешно сдали тогда, уроняя Россию? Как же могла страна воевать, когда всё образованное общество открыто (и для врага) *требовало* поражения? И когда наша несчастная пехота на своих телах для всего мира вызнавала новую тактику войны двадцатого века, ещё не пряталась в земле по одному, но в зоне огня *ходила ящиками,* и даже в ногу, — отчего же т о г д а вы нас не спрашивали о духе и воле к победе?

Ну, допустим, допустим, чьи-то надменные расчёты над неиспробованными японцами, да личные интересы ничтожного адмирала Алексеева, — Воротынцев, сидя на этой войне, переменил мнение и о прошлой. Но ведь с тех пор, в 907-м, и Германия тянулась к «русскому курсу», а мы отвергли, а мы предпочли неверную дружбу с Эдуардом. А почему же здесь, на западе, сокоснувшись — надо непременно пробовать силы? А почему *эта* война так нужна, и что такое мы можем в ней выиграть? Тогдашний удар по телу страны — вы думаете, не отольётся вам? За *тем* поражением, в далёкой войне, не могли не придти пораженья поближе. Конечно, если считать, что Россия кончается нашим поколением, тогда можно позволить всё. Столыпин, такой вам ненавистный, не он ли вытащил нас оттуда, куда вы нас столкнули? Ах, господа (это — не вслух), да когда же всё повернулось, что вы теперь такие воинственные? А нас, младотурок, бранили либералами, а мы были всего лишь патриотами. Но поздно, господа! — когда осенил вас патриотизм, наша армия, наша армия перестала... как бы вам назвать?..

Андрей Иванович, на облокоченной руке, приниженный, придавленный косою тяжестью к столу: но всё-таки солдаты — не просто же гонимые жертвы? В шинелях серых соотечественники наши, они же всё-таки понимают цели войны? Задачи России и всеобщей свободы — не чужды же русскому солдату? Да и Дарданеллы — это не выдумка Петербурга, их требует экономика всего русского юга...

И Воротынцеву — неловко. Не отвечать неловко, но даже услышать этот вопрос от государственного мужа, кем восхищался весь вечер.

Ведь вот как хочется вам: всё Верховное — чем хуже, тем лучше. А чтоб армия — хотела воевать и побеждать, и желала бы Константинополя.

Но мы и перед войной запрещали произнести в армии хоть одно политическое слово — как бы не обидеть германского и австрийского императоров. А что говорить сегодня? «Немцы — вековой враг славянства»? Я думаю, мы перевалили в эпоху, когда такие контрасты уже не будут существсвать. Да солдаты сердцем опередчивее нас: кроме как за газы — нет у них на противника зла. А ещё — австрияки некоторые «гуторят похоже на наше». Это здесь — легко произносится: вообще наступать до победы, вообще верность союзникам. Но всё, что ведаете вы, господа, об отечестве, — солдатам ведь никто никогда не рассказывал. Нет у них такого неотступного видения — «страна Россия», не так чтобы просыпались и засыпали с мыслью о России. У солдат совсем нет этого понятия — «победа», а только «замирение», перестали бы стрелять, да и всё. И молодёжи и старым запасным — лишь бы выйти из боя, они уже не воюют как прежние строевые. Пехотинец пробудет от раны до раны на войне — ему и вспомнить нечего, он только служил мишенью. Его *дух* — это обречённость. Пехота Четырнадцатого года была самоуверенная, весёлая и крупная. Сейчас — безучастная, равнодушная

и мельче ростом. Вот почему я и говорю, что наша армия перестала, перестала...

Если верный сельский врач перестал наслушивать ужас приговорённых к открытой атаке — не в получасе одного батальона, но всенедельный, всемесячный рок целой крестьянской России... Единым оком — все эти прусские, польские, галицийские и румынские поля, а по ним — разбросанные убитые. Никогда уже не встанут принести жалобы и возражения. Нет семьи, где не молились бы за ушедших, нет церковушки сельской, где не служили бы панихид. Долготерпение — о да, на это мы и надеемся, — но может быть нам очнуться раньше?.. Земским врачам, парламентариям и офицерам — какое нам оправдание, если мы выживем через труп Ново-Животинного или Застружья? (Это — должен сам понять.) Если дух армии — *уже* упущен, если тела — уже передержаны, — куда ж ещё, ещё, ещё испытывать народное терпение? Если среди солдат — глухое, меж собою: обороняться — как не нять, а наступать — чо-й-то ноги не шагают. Не надо ждать, когда это вспыхнет наружу!

Вот их состояние выше усталости: застывшее недоумение. Так и умирают — недоуменными. Их дух третий год не поддержан никакими разъяснениями, никаким вдохновением, а только: надо умирать! Крестьяне очень верят в высшую справедливость. В эту войну они утратили её ощущение: они гибнут, но им непонятно — зачем. Они всё тянут не из страха — но через силу. Они взросли бы на любые жертвы, но должны видеть необходимость этих жертв. Наш народ — с таким хорошим сердцем, так послушен, — но мы этим послушанием злоупотребили. Они тянут, тянут непонятный им долг, — но будет ли это до конца? Вы говорите — народ не простит этой войны, — да, но не правительству, а — нам всем!

Профессиональному военному перед столь воинственной компанией этого почти вымолвить нельзя, это непонятно, а: *надо где-то знать меру даже и России!* Существует некая мера расширения. Она познаётся через плотность распирающего духа, через пропаханность и проросль каждой квадратной сажени внутренней земли. Расширение — не может быть безграничным. Неужели Россия нуждается в расширении? Она нуждается во внутренней проработке. Кадровому полковнику — да, неловко вымолвить: война — всё же нужна не сама по себе, но для жизни государства?

И: что же правильно значит — любить свою страну?

Вот эти фотографии павших *воинов благочестивых,* которые вы все рассматриваете за утренним кофе между пятью газетами, — вы пропустите их через себя, вообразите, что они *через вас* протекли и всосались в землю бурыми пятнами. И поймите, что это — лучшие-лучшие-лучшие, кто не умеет отлынивать и хорониться. И этих потерь не восполнить России за два поколения!

Ощущаете ли вы, что такое ранение в живот? Да и когда грудь прострелена? Когда выворочена челюсть? Разрывной пулей вырвана щека? Отсечен угол черепа?

Кто этого не ощущает — почему он имеет право судить?

Я сегодня успел побывать на Марсовом поле на выставке лицевых протезов. Вы не были? — а это так близко. Сходите, господа, и почувствуете. Этому — нет названья на человеческом языке, и Гойя такого не рисовал. Лица, настолько искромсанные, разодранные, раздробленные, бескостные, ослеплённые, утратившие человеческий вид, — и так им жить теперь до смерти. Сходите, господа.

Да, офицеру о раненых лучше не думать, это расслабляет. Но вот — зайдёшь в перевязочную проведать своего героя, раненного два часа назад. Вечер. Землянка. Небольшая керосиновая лампа — высоко на полочке, сжигающая воздух. Тусклая полутьма, несколько топчанов вдоль стен, на каждом раненый. И вот этот чуть расширенный, полуосвещённый, безвоздушный гроб санитарной землянки — последнее видение Земли, последний образ жизни! Чтоб увидеть лицо раненого — надо под-

нести к нему свечу. За два часа смелое молодое лицо стало неузнаваемо: глаза увеличились, и столько знания в них, рот провалился, щёки выжелтели. Ждёт, когда же причастие.

Да вот (няня рассказала): месяц назад, оказывается, приезжал в Петроград японский принц — и главные улицы изукрасились русскими и японскими флагами. И простой народ спрашивает: а зачем же мы с ними воевали? И стоило ли нам на японской войне убиваться? А через несколько лет вот так же будут и немцев встречать? (А между тем японцы презирают нас, что мы так плохо использовали уроки той войны.)

Я не знаю, может какая другая война, к которой мы бы внутренне подготовились... А к этой мы не были готовы. И сейчас — нельзя исправить дела никакими другими мерами, как... прервать... Я не знаю, может быть уговорить союзников мириться. А то, так... А то, так... (но этого уже решительно никому здесь не сказать) разбиралось бы Согласие с энтим четверным Союзом Центральных, а наша бы Матушка, наша бы Матушка... убралась бы, полы помыла, печку протопила...

Странно от меня это всё?.. Но только тот, кто и сам двадцать лет — частица деятельная этой армии и не пропустил ни дня войны ни той, ни этой, — только тот и может решиться. Профессиональный военный, офицер своего Отечества, должен для Отечества каждую войну изо всех сил выигрывать?.. А я не знаю — я ещё профессиональный?.. Сто пятнадцать недель, восемьсот дней вот так — самый воодушевлённый офицер не готов в таких дозах принять своё ремесло. Или я слишком чувствителен оказался?.. Это — такая усталость, такая однообразная смерть, такая тоска и обида, выело всё нутро,— и *жить* в этом ремесле дальше некуда. Колени слабеют — сесть. Руки виснут в плечах. Сваливается голова.

А что же — офицеры? Это — не народ? Да это — пружина и воля нашего народа. Вот — газ пришёл, уже все солдаты в масках, но надо по телефону предупредить следующую линию о газовой волне, и поручик Грушецкий, тамбовец, снимает маску, передаёт предупреждение — и отравился. Вот командир батареи подполковник Веверн не в силах открыть батарею противника, — так идёт сам через сторожевое немецкое охранение — там её найти, увидеть, потом вернуться и накрыть. И дело сделано. Вот, из укрытия наблюдательного не всё видно. И чтоб вести ответный огонь своей батареи — капитан Шигорин встаёт во весь рост и командует. И через четверть часа убит осколком в висок — но дело сделано. Лучших-то — и убивают. Счастлив офицер, о котором говорят солдаты: «с нашим не пропадёшь». Счастлив офицер, за которым дружно пошли в атаку. Но и не тот ещё самый несчастный, у кого солдаты разбежались, но он хоть два пулемёта притащил на себе.

Наших кадровых строевых офицеров, начинавших эту войну, остался из семи один. И солдаты — в отчаянии чувствуют, что их новые офицерики — не разбираются в деле, а только губят всех.

Да знать надо было — поручика Скалона, штабс-капитана Новогребельского (и постоять над живым ещё, лицо уже бледно мертво, а ресницы вздрагивают), подполковника Чистосердова, и утерять их навсегда — чтобы понять: *русской армии больше нет.*

Перестала — существовать.

Надо было видеть капитана Таранцева, очумелого, одеревянелого, под пулями, в ста саженях от Радзанова: «Капитан Таранцев! лягте! в укрытие!» Чуть повёл головой: «Роты нет. Теперь всё равно.»

Сам ли ты ещё живой, если сдал деревню, и в ней, горящей, видно при пожаре, как немцы ходят и пристреливают твоих раненных оставленных солдат? Командир полка, у которого за год состав полка сменился четыре раза, так что иных солдат и видеть не успевал, а только посылал их в бой, а потом относили их, если было что относить, — до сей ли ты поры командир полка или уже убийца?

Если помнить, как учил генерал Левачёв: офицер должен быть бес-

пощадно строг — только к самому себе. К другим офицерам — мягче. А к солдатам — ещё мягче.

Тому, кто с ними бегивал через эти пустые непереходимые вёрсты. Кто радовался внезапному увальчику — и вместе с ними утыкивался под спасительное его плечо. И под грохающим обстрелом слышал ухом через землю, как слабеет ход солдатского сердца, да и своего. По этому ритму тот мог бы сказать (но — кому? кадетам — нельзя, правым — нельзя, власти — нельзя, кому ж говорить?!), что наша лучшая сейчас победа и наша лучшая честь — это спасти русский народ, кто ещё остался. И только.

И — неважно, как будет называться тот мир, — без Константинополя, без Польши, без Лифляндии, меньше беспокойств. Только бы нам остаться *нами*.

Дошёл ты до такого наблюдения, нет ли, — дошла война до такой черты, что спасти Россию, спасти себя, какие мы есть, пока не перебиты до неузнаваемости, — это уже будет победа.

Даже если — через какой переворот?.. (Но это — не вам.)

...И сообщаю я вам, что службой я доволен, и начальство у меня хорошее. Так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь.

(Типографское солдатское письмо)

* * *

Не надо нам, православный царь, злата-серебра:
Пусти нас, православный царь, на свою сторону,
На свою сторону, к отцу, к матери, на святую Русь.

23

А как только затянутая пауза дала повод думать, что рассказчик не склонен продолжать, — тот новый слушатель с подкидчивыми нервными бровями, гололицый, только с подштриховкою усов, — теперь в эту первую паузу первый же и врезался, не дав никому ни отозваться, ни возразить:

— Скажите пожалуйста, а каковы ваши наблюдения над противосамолётным станком Иванова? Вы видели его? Как он в работе?

Воротынцев своим мучительным рассказом совершил какой-то крупный шаг в самом себе. Вся эта наросшая кора сердца и тела как будто треснула — и открыла ему расщелину выйти. Теперь — ему нужно было сколько-то часов плавной неподвижности, — не говорить, не шевелиться, отдыхать, даже может быть просто научиться сидеть на стуле рассвобождённо, как все сидят, а он не умел — ведь он по привычке сидел, как легче ему сорваться по первой тревоге. Благодетельно открылась ему возможность омягчеть и вернуться к своему утерянному, забытому нормальному состоянию. И для этого очень нужно было, чтоб эта милая Андозерская продолжала бы сидеть прямо перед ним близко, глубоко одобряя его глазами, иногда и вспыхивая зеленоватым огоньком. И так — он хотел бы не участвовать пока больше в беседах. Вот и пришло то признание, которое так ждётся после невзгод. Вот и угадал он время и место, куда тащил и притащил свой тяжёлый воз, как будто свалил и освободился. И сейчас ни на какую политическую реплику он не хотел бы даже отвечать — если вот опять будут возражать ему о необходимости кадетской «скорой и решительной победы» или невозможности победить с *этим* царём, — с этим, не с этим — он уже выразил, надеялся, достаточно: что не побеждать надо, а скорее выходить из войны. Да кроме повторения ходов в этой компании уже ничего не могло возникнуть: говори им, не говори, что военная усталость через меру, — они будут всё своё: что только благодаря войне родина держится

спаянной, а то бы всё рассыпалось от недовольства царём. Они ещё больше встряли в войну, чем царь.

Но чего угодно он ожидал, только не этого вопроса о станке Иванова. Шея Воротынцева снова напряглась и он взнял голову: среди чужих петербургских — тут свой сидит, замаскированный в городской костюм? На любое ожидаемое возражение уже не хотелось поднимать душу, но на это?! —

— Замечательна быстрота перевода из походного положения в боевое и наоборот. Поэтому если идёт в колонне и появились самолёты — запряжка выводится в сторону и в несколько минут установка готова к стрельбе. И прочна. Лучше, чем Радзивиловича.

— А стреляет?

— Ну, стреляют все они не на полный угол возвышения. И прыжок выстрела сбивает наводку, так что нужно всякий раз ставить новый прицел. Поэтому...

Тот — с тревожными глазами, требовательный, вклювчивый, говоря быстро, со смыслом, обгоняющим неизбежную длинноту слов, переклонился к Воротынцеву, а Воротынцев к нему, и так они через полкомнаты заговорили плотно, а потребовалось что-то нарисовать — тот вытянул блокнот с ручкой и пробирался, нёс полковнику.

Как будто всё рассказанное было не для них двоих, и Воротынцев только притворялся, и вы там как хотите, а вот — самое главное. Наступила граница неловкости. Но исправил Андрей Иванович:

— Господа, господа! — подходил он с добродушным смехом (со смехом, а — не смеясь, с лицом серым как у контуженного, вставшего из земляной осыпи, глаза не собраны и собственный голос неверно слышится), — да разрешите прежде вас друг другу представить... Пётр Акимович Ободовский... Если хотите, тоже почти военный: недавно в Лысьвенском горном округе успокоил бунт рабочих с решительностью полковника, хотя без капли крови, одними речами.

Ободовский страдательно дёрнул бровями — к чему это всё? Ладонь его была горяча и суха.

— ...По русской нашей удивительности Пётр Акимович почти бросил горное дело и занимается одной артиллерией. При гучковском комитете создал комитет военно-технической помощи.

Вот сколько сразу. Да как же сошлось! Инженер да на артиллерии — почти как офицер-академист. И сотрудник Гучкова? — в первый же случайный вечер второй след его!

— Вы часто Александра Иваныча видите? Он... ?

И захлебнулись бы над блокнотом, хотя неприлично было так пренебрегать обществом, но другой усердный слушатель Воротынцева, маленький профессор в стоячем кружевном воротничке, возвращала их в общую комнату:

— Скажите пожалуйста, а эмигрант Ободовский, из круга Кропоткина, не родственник ваш?

И голос её отозвался в Воротынцеве радостно: она не вставала, не уходила, не увела внимания. Ему бы хотелось: вот она бы, хорошо бы, знала всю его прежнюю историю, опалы. Вот для неё, к ней — его история была нужна.

Ободовский головой вертнул, не сразу понял:

— Кто? А. Да, я. Да.

И — к делу опять. И невольно втягивая опять Воротынцева, ну как этому инженеру откажешь? Но и Андозерская, не отставая, чуть посмеиваясь над ними:

— Простите, я из чисто теоретического интереса...

(Какой мелодичный голос у неё. И так мило поигрывают струны шеи.)

— ...Как же связываются убеждения той и этой жизни? Анархизм и артиллерия?

Анархизм? Никогда в жизни Воротынцев не видел живого анархиста. И этот инженер с заглатывающим вниманием... ?

Ободовский обернулся-дёрнулся, как бы ища защиты:

— Как прилипло. Кто-то пустил, и носится. За границей я имел счастье стать близок к Петру Алексеевичу, оттуда заключили, что анархист.

На помощь пришёл Минервин. Выдвинул сильно, бесповоротно:

— Дробление русской интеллигенции на партии носит случайный характер. А из корня мы выросли все из одного — служенья народу, мировоззренье наше едино. Служит кто как понимает, и анархизмом, и артиллерией.

Всё отвечено, дальше настаивать и неуместно. Но Андозерская, с головой ниже верхушки кресельной спинки, как девочка, приглашённая на взрослый разговор, — настаивала. При несильном тихом голосе у неё была владетельная манера спрашивать:

— Но всё-таки ваша эмиграция имела революционную причину?

— Да дело дутое, — озабоченно отмахнулся Ободовский. — А пришлось бежать.

Интересно вот что: оправдался ли термитный снаряд Стефановича? Вы — видели его действие?

А за Ободовского закончила жена — плавная, спокойная, тоже лет под сорок, объяснила Андозерской, Вере и кто ещё слушал:

— На полчаса опередил полицию. Только я проводила на вокзал, вернулась — пришёл околоточный, брать подписку о невыезде.

Она была одета не то что скромно, но близко к скудости. Умеренно-полна и мягка в движениях, в возмещение худощавой беспокойности мужа. А сохранилась — при тёмных волосах, покойной русской, даже сельской красоте, под сорок лет могла бы так выглядеть Татьяна Ларина. Ободовский бывал в Публичной библиотеке, жену Вера видела первый раз.

Вера — очень была довольна. Горда за брата. Всё получилось даже лучше, чем она задумала. Хотя по лихости он и сделал несколько политических бестактностей, но исправилось его ошеломительным рассказом, все слушали, не пророня. Вера и всегда считала брата выдающимся, лишь по прямоте своей и по кривизне путей восхождения не занявшим видного места. И с Андреем Ивановичем они друг другу понравились. И вот как свободно отвечал на вопросы Ободовского. И внимание Андозерской явно забрал.

Вот это деловитость! Воротынцев охотно отвечал. Не знал он о комитете военно-технической помощи! Такая встреча — неисчислимой пользы: тут можно многое посоветовать или просить иметь в виду, о чём с фронта не докричишься:

— Скажите, а как с траншейной пушкой? Будет ли у нас траншейная пушка? Когда?

— А уже первые экземпляры на фронте. Отличная пушка, великолепная! Сейчас налаживаем серию на Обуховском. Я думаю, к весне в каждом полку штуки по две будет. Да вот как раз Андрей Иваныч тоже следит...

Андрей Иваныч присел к ним потолковать — кому ж нужней? Он и Ободовского не в гости звал, откуда эти гости набрались, приват-доцент и профессорша — книги взять-отдать, дамы со сбора завернули, Петербург! Он и приглашал Ободовского за советом по делам оборонной думской комиссии.

— Простите, Андрей Иваныч, как раз по поводу траншейной пушки должен был мне сегодня вечером звонить инженер Дмитриев, и я имел смелость дать ему ваш номер телефона, что буду здесь, ничего?

— Конечно, пожалуйста, Пётр Аки...

Телефон — как раз и зазвонил. Вера прирозовела. Спрашивали Андрея Иваныча. Уже пока трубку передавали — узнали резковатые нотки Павла Николаевича, самого. Квартира затихла, ловя отзвуки.

Шингарёв вернулся от трубки недоуменный: Павел Николаевич просит немедленно ехать к нему, а если Минервин ещё не ушёл — то и Минервина.

Что-то случилось! *Что-то случилось.* Оба лидера засобирались, слегка переговариваясь, а приват-доцент и кадетские дамы сильно заволновались. И старшая улучила Минервина выведать хоть толику.

Минервин сказал:

— Возьмём извозчика.

Шингарёв отмахнулся:

— Теперь извозчик до Бассейной — три рубля. На трамвае доедем.

Вежливость хозяина: Андрей Иванович предложил обществу не расходиться: может быть, вернутся скоро.

Активисты партии Народной Свободы и расположились дожидаться: интересно! важно! От старшей дамы тотчас и распространилось: изменник Протопопов предложил думским лидерам частную встречу! И надо решать тактику: идти на встречу или оскорбить его отказом? или поставить ему требования? или только понаблюдать и разведать? добивается забрать продовольственный вопрос? — не давать ему! А может быть, наоборот, его тайно подослали пригласить в правительство кого-то ещё? Манёвр!

Что Протопопов — очередной новый министр внутренних дел, Воротынцев ещё знал. Но почему и кому он изменник и почему тогда встреча с ним так важна?..

Шингарёв прощался с Ободовским. Так и не поговорили. Но Ободовский должен будет теперь задержаться, подождать телефона от своего инженера.

Андозерскую? — не предполагал Шингарёв ещё сегодня увидеть, вернувшись. Прощался пожатием руки.

И Воротынцев спохватился, как вырвали кусок из бока: начинается разъезд, и Андозерская сейчас тоже уедет, а он даже с ней не успел...

Тем временем принимал тёплую мягкую сильную ладонь Шингарёва. Лоб откровенный ясный, добрые глаза. И — с ним не успел. И с ним были пути что-то открыть? Но — уже не повидаться больше.

Да ведь теперь и Воротынцеву что ж и как же оставаться?..

А Андозерская сидела без движенья к уходу, как ни в чём не бывало — и взгляд её тоже никуда не уходил.

— А светящуюся шрапнель у вас применяют?

— Это — бенгальский огонь на парашютиках? Видел. Хорошо... Но вообще надо добиваться: в боекомплекте уменьшить шрапнель в пользу гранат.

— Это мы уже проводим. Но гаубичного усиления не ждите. Нужно больше использовать горную пушку как гаубицу.

А Андозерская ничуть не скучала. Так и сидела рядом, свидетельница их захватывающего разговора, слушала того и другого, внимательно переводя глаза, как если бы свойства гаубичности и утверждённый состав боекомплекта глубоко затрагивали её. (А может быть — учёному всё интересно?)

И радостно было, что она не отсела, не ушла, ещё не уходит, сидит рядом — и смотрит. Но тогда надо прекратить бы артиллерийский разговор, а тоже неудобно.

Через мостик этого милого взгляда к Воротынцеву что-то перетекало. И по нему же утекала часть его самого. Воротынцев менялся и освобождался под этим взглядом.

Никакого освобожденья не наступило, конечно: с его полком, с их корпусом и фронтом не изменилось на ноготок, и через три недели он сам вернётся и будет барахтаться во всём том же, и вскоре, может быть, настигнет его так долго щадившая смерть. Не освободился, но в этом женском соседстве чувствовал себя всё более облегчённым. Отделённым от своей же высказанной мрачности.

И так артиллерийский разговор при зеленоватом попыхивании при-

обретал восхитительный оттенок. И никак не хотелось прервать и подняться.

И жена Ободовского, наискось позади мужа, при их разговоре, не дававшем повода для улыбки, сидела с тихим дремлющим удовольствием, на пути к улыбке. Не ища быть замеченной, даже говорить.

И — Веренька была тут, остальные где-то. Всё понимающая милая сестрёнка, она всё время весело поглядывала, но вот — какое-то беспокойство стало пробегать по ней? Может быть, без хозяина неудобно оставаться, время? Не мог понять, занятый и без того.

Да всё равно не было сил подняться.

А разговор с Ободовским, пробежав черезо всё главное, ослабевал.

Да даже из уважения к Андозерской, мягко закованной в английский костюм, в самом центре разговора, — надо было тему изменить, постараться.

— А как по тем дорогам проходят тракторы Аллис-Шальмерс?..

И зорко углядев эту первую вялость их разговора, профессор Андозерская мягко и твёрдо вошла в него как килем в воду:

— Пётр Акимович, не сочтите назойливыми мои вопросы, но, — полуизвинительно губами, — я тоже — в пределах моей специальности. Всё-таки, революционеров мы привыкли чаще видеть разрушителями, и поэтому революционер-созидатель не может не привлечь внимания. Не откажитесь объяснить: с вашей нынешней деятельностью — как соотносятся прежние партийные убеждения?

— Партийные? — резко обернулся Ободовский, морща лоб под ёжиком приседенных волос и бледно-голубыми несвежими глазами увидев Андозерскую, как будто впервые тут севшую. При этом повороте — не одного лишь подбородка деятельного, но самой мысли через сектора-сектора-сектора, его как центробежной силой прижало к откатистой спинке стула, и он должен был переждать, ответил не вдруг: — Я же сказал, я ни в какой партии никогда не состоял. Потому что всякая партия есть намордник на личность.

— Так именно из-за насилия? — уточняла Андозерская.

— Именно, — моргнул измученно-энергичный Ободовский, в этом морге как будто и отдохнув на полмига украдкой, а много ему и не нужно, уже посвежели глаза. — По убеждениям я — социалист, но — независимый. В Пятом году мы с Нусей... помнишь, Нуся?.. «социал-демократами» даже ругались, ругательство у нас такое было в Иркутске.

Нашлось место Нусе — и она из своего полудрёмного удовольствия плавно вступила с объяснением:

— Там такие были горлохваты, так развязно себя вели. Так пятнали свою тактику. И хотя мы сами тогда готовы были идти в баррикадники, даже под пулями умереть...

Она — в баррикадники?.. Вот с этой мягкостью, ненастойчивостью?.. Невозможно представить.

...А между тем, да, в Иркутске доходило почти до баррикад. Интеллигенты и офицеры шагали по улицам вперемешку, пели марсельезу и дубинушку. Железная дорога бастовала, никакой публике билетов не продавалось, ехали одни солдаты: их сила была сильнее забастовок, и непослушную станцию они разносили в пятнадцать минут. Ободовский, застрявший на забайкальском руднике, добрался в теплушке железнодорожников тем, что всю дорогу говорил им политические речи и читал лекции по социализму. В Иркутске бушевали собрания и митинги. И на них — деловитостью, ясным умом, напором, сразу же без труда выделялся Ободовский. И его, никогда прежде не знавшего другой формы жизни, как работа горняка, в эти безумные недели выталкивало вперёд — делегатом, депутатом, представителем, выборщиком, в одно бюро, в другое бюро, председателем местного союза инженеров, и в какой-то секретариат, и в сам иркутский Исполнительный Комитет.

Самое приятное и было — вот это расслабление. От безопасности, от выполненного долга. Вдруг перестать себя ощущать летящим снаря-

дом. Просто сидеть, даже вопросов не задавать. Закурить? — разрешили. Закурить. Как будто слушать Ободовских. А на самом деле — пересматриваться с Ольдой Орестовной. Ловить её взгляда не надо. Он — вот он. Он — вот он.

Она же, всё это успевая, не дала себя уклонить иркутскими воспоминаниями, а направляла на выцеленную точку.

— Но ненавидя насилие, вы должны ненавидеть и всякую воинскую службу?

— К-конечно! — соглашался Ободовский. — И военную службу, и армию! Досталось и мне послужить. Вместе с мундиром надеваешь сердцебиение. Перед каждым генералом — во фронт, каждому офицеру — честь, без спросу не отлучись, думают — за тебя. Чтоб не попасть под униженье, под замечанье, держишься так напряжённо, нервов не хватает. И я только тем спасся, что откопал в уставе пункт, никто его не знал, что после производства в прапорщики можно хоть на другой день уволиться. И уволился!

И засмеялся облегчённо. Да давно это было — ещё до эмиграции, и до революции. Он спас из армии свои слишком отзывчивые нервы. И принципиально ненавидел военную службу, как часть насилия. Но, в том же Иркутске, по честности, не обойти восхищеньем генерала Ласточкина.

...Ему остались верными две роты. А весь гарнизон взбунтовался и пришёл на них, на верных. Раскалённая революционная масса вооружённых солдат, и с офицерами! Ласточкин вышел на крыльцо без охраны: «Стреляйте в меня, я вот он! А сдаться? Не могу: присяга и честь!» Что ж гарнизон? Гарнизон — перенял! Гарнизон закричал коменданту: «ура-а!» — и в полном порядке, лучшим строем ушёл!!

— Военная стать! — Андозерская повела головой, узнавая, любуясь, любуясь тем видом Ласточкина на крыльце, — Ласточкина, но по соседству взглядывая и на Воротынцева.

И он всё больше легчал и веселел. Как будто не он полчаса назад раскатывал тут самое безнадёжное.

А Верочка как будто немного неспокойна, отходит, подходит, старался не понять. Рано ещё. Сама уговаривала сюда...

Он — прикипел к месту.

Ольда Орестовна дальше хотела вести, да Ободовский уже схватил, куда она:

— Вы хотите сказать, ненавидя воинскую службу, надо же последовательно отвергать и войну?

Профессорская логистика школьная — то-то скука, наверно, на лекциях. Так прозрачно было Ободовскому, и так по-детски, на какое противоречие она его тянет.

— Вообще — отвергаю.

— Но тогда как вы можете руководить комитетом военно-технической помощи?

Усмехнулся. И вдруг — импульсом, с нерастраченным задором:

— Вот так! Армию — ненавижу. Но когда все струсили и бегут — понимаю коменданта Ласточкина! Могу — рядом стать! Я — против насилия, да! Против всякого насилия, но *первичного*! Не непротивленец — а *против*! А когда насилие произошло — чем же ответить, если не силой? — Перебежал нервный огонь по глазам: — Не обороняться — это уже просто слюнтяйство!

Ах, молодец! — Воротынцев засмотрелся.

А жена — так плавно, бессомненно:

— Что вы, господа, он никогда пораженцем не был! Он и на японскую рвался. После потопления «Петропавловска» надел траур на рукав, говорил: не сниму, пока не победим. Та́к ведь, Петенька? От сдачи Порт-Артура — заболел, есть и пить не мог. — Сочувственно коснулась мужниной руки. — Только уж после Цусимы и когда выяснились лесные

концессии... И то хотел — мира, но не поражения... А на *эту* войну даже форму купил, ходил напрашиваться, только Гучков отговорил...

Ободовский наморщил лоб, посмотрел на собеседников — где ж они видят противоречие?

— Разве, любя свою страну, надо непременно любить и её армию?.. Чтобы защищать отечество — надо быть сторонником насилия? Я просто не переношу быть битым! Это — естественно? А когда бьют Россию — бьют и меня. Так вот я не даюсь быть битым ни порознь, ни вместе!

Но с кем он спорил?

Воротынцев? — ему и не возражал. Воротынцев покуривал, поглядывал, послушивал. Что надо — эта милая разумница скажет. И Ободовский скажет.

Андозерская? Она и спорила-то академично, а вот уже и вовсе рассеянно. Но, наверно, не привыкла уступать, всегда цепляется, — и поэтому что-то о логическом разрыве. Полуулыбнулась, махнула ресничками:

— Тогда вы должны испытывать к врагу сильные чувства?

Искала поддержки у Воротынцева.

А он замешкался. Сильные чувства?

— Да. Ненависть! — кивнул Ободовский.

— Ненависть? — понял Воротынцев. Подумал. — Странно. А я сколько воюю — никакой ненависти к немцам не испытываю.

Теперь — накатные морщины на лбу инженера. Как это?

В самом деле, как это? Воротынцев и не понимал. Но — верно, так. Как ведь и у солдат.

— Ни-ка-кой... Вспоминаю, что и к японцам не было. Воюю — Россию защищаю. Воюю — как работаю по специальности. А ненавидеть?.. Подозреваю, что и в немецких офицерах... тоже...

А как же, напомнила ему Нуся Ободовская, подстрел раненых в горящей занятой деревне?

Да, что-то он запутался... Или нет?.. Разодранное сердце, пыл драки... Ненависть? Да! Но — к высшим нашим, тем, по чьей глупости деревню эту отдали. А противник в свете пожара — как стихия... как адовы тени... Ненавидеть можно — живых, реальных.

Он понимал, что нельзя упустить сегодняшнего вечера: надо сказать Ольде Орестовне нечто особенное. Какую-то отметину положить, как любимый шрам. Но не нашёл — в какой момент? Не ошибётся ли в тоне? И как она это... ?

Подошла Верочка. Стояла за спинами Ободовских, не садясь.

Утихли споры. Слышались детские голоса из другой комнаты. Кадетские деятели — тоже в другой. Побрякивала посуда в кухне. Так мирно было. Ни взрывов, ни выстрелов, ни ловушек, ни мин.

Взгляд сестры показался брату тревожным, каким-то нововнимательным, — он отвёл глаза.

24

Теперь, под сорок лет, но даже и в тридцать, Нина Ободовская совсем разучилась ждать восхищения, уже не нуждалась привлекать к себе внимание, искать хоть толику своего отдельного успеха. «Замужество — это судьба», — давно приняла она, приняла, и не раскаялась никогда нисколько. Судьба — мужа, а её — прилитая, и так — хорошо, верно. Всегда была работа, дело и борьба, ни на что больше не оставалось и щёлочки. И когда сегодня предложил муж пройтись тут с ним ненадолго, недалеко, от Съезжинской до Монетной, то непривычной вольготностью оказалась для Нуси та сторона затянувшегося визита, которую можно было назвать «сидением в гостях».

Нина Александровна по рождению была Бобрищева-Пушкина и в юности присутствовала на коронационных торжествах молодого Госу-

даря: кричала «ура» ослепительному царскому въезду в Москву; в придворном платьи с треном, открытыми плечами и в кокошнике стояла при царском выходе в Большом Кремлёвском дворце; и взрослела, узнавая себя на балу московского дворянства в честь нового царя. В те годы она с жаром изучала генеалогию, реликвии и предания своего рода (хотя, в согласии с русскими романами, и разносила по избам лекарства, чай-сахар, белый хлеб и крестила детей крестьянских). Она была изрядной красоты, у неё часто сменялись обожаемые *пассии*, и поначалу совсем её не привлекал, а больше досаждал своей неумолимой критикой случайный в их доме сын портнихи, некрасивый остробровый вскидчивый нервный молодой человек, провинциал, репетитор, студент-горняк, от голода упавший в обморок на Николаевском мосту. Даже запершись с девушкою в тёмном шкафу для опытов с электричеством, он по убеждениям честности не разрешал себе лишний раз коснуться её руки.

В семнадцать лет, среди сменчивых увлечений, так трудно понять, кого истинно любишь! Но непредречённо для нас самих развиваются наши решения, и тот непоправимый выбор, который даётся девушке единожды, Нина истратила на безрассчётную безнаградную судьбу Петра Ободовского — и уже никогда не видывала знатных дворянских балов, да даже Петербурга, да даже и России, а — глухие избяные сборища рудничных служащих, где соревновались пирогами и водкой, или скудные эмигрантские любительские вечера на средства кассы взаимопомощи.

У Пети с самой юности уже были прочные убеждения, у Нины — по сути никаких, и так получилось естественно, что она стала думать, как и он. Он не терпел ничего, что *принято* в обществе, и само высшее общество, особенно гвардейцев и правоведов, уже за то одно, как *смотрят* они на женщину, — и, пожалуй, единственный раз за жизнь поступился убеждениями, согласясь на церковное венчание, — просто потому, что обряд этот неизбежен. Для Пети мучительно было при этом исповедоваться (впрочем, понимающий передовой священник задал лишь два-три формальных же вопроса) и причащаться. Да Нина и сама, ещё в 17 лет, отказалась от причастия: «Не верю, что это — кровь и тело Христовы!» (Внушала мать: «Ниночка, теперь и никто не верит, но все же причащаются!») Не верила Нина и в таинство венчания, но сам обряд тянул, завораживал, был действительно открытием новой жизни и высшим праздником женщины.

На том уступки жениха и кончились. Он отказался делать свадебные визиты. Отказался от «романтических глупостей» идти на кладбище предков. Не любил сентиментальных воспоминаний жены, не любил их старого барского дома на Волхове, и само-то имение считал преступленьем, так что Нуся отказалась от своей доли наследства. (Да даже и своими руками работать на земле, самую связь с землёю Петя отвергал, сельского хозяйства не любил, как дела, куда вмешиваются внезапные неучитываемые силы: какие-нибудь град, засуха, и пропал твой технический расчёт.)

В молодой петербургской жизни ещё бывали у Нуси минучие досады: в 20 лет и даже в 25 хотелось же потанцевать! Но никогда не было ни платьев, ни туфель, а первый же на платье родительский подарок муж взял на общественные нужды, взаймы, но безвозвратно. Да и времени не стало ни на концерты, ни на лекции, какие грезились: уже гнулась Нуся днями и вечерами, умножая и деля цифры рудничных обследований, разнося их по карточкам, много путала, да и скучно, сидишь дома целый день, как на службе, а муж требует неуклонно. Неуклонно — но и нежно. И при малом огорчении на лице мужа Нуся готова была отказаться от чего угодно. Так и приучилась она жить — в радостном угождении. «Прости, Нусенька, что я тебя в чёрном теле держу. Это — первое время. А там станет посвободнее — будем всюду ходить», — но ник-когда «а там» не наступило за всю жизнь!.. Петя всегда как в котле варился, даже на студенческом балу у него были обязанности

кассира каких-то сборов, даже на первом пароходе во Францию он на море не смотрел, а учил французский язык, — где же что могло остаться для жены? Однажды вырвалась она на рождественский костюмированный бал — но куда что делось? была неумела в игре, не бойка на язык и, прелестно одетая японкою, не привлекла внимания. Мечтала читать с мужем по вечерам серьёзные книги — не дождалась и этого. «Ты хоть просвещай меня!» — прашивала она, очень нуждаясь в авторитете. Но возражал молодой муж: «Я слишком уважаю тебя как личность, чтобы навязывать тебе свои взгляды. Вырабатывай сама.»

Какие ж иные? как вырабатывай? Мужнины и приняла всё равно.

Предлагали Ободовскому остаться в Горном институте по окончании его — тесно, отказался. Звали в благоустроенный Донецкий бассейн — слишком легко там работать, отказался. Его манило на новое, он был природный пионер. Поехали в Сибирь, на дикий Головинский рудник, и это было ещё не самое изнурительное, скоро завёлся черемховский «Социалистический рудник», где каждый рабочий после года работы получал бесплатно пай и долю в управлении, — невероятная затея для 1904 года, от властей прикрыли его социалистичность мнимой компанией акционеров. Уезжая в Сибирь, Петя из подъёмной тысячи рублей тут же отдал семьсот на какое-то общественное дело, даже не спрося жену, не надо ли ей чего. Какого человеческого чувства он никогда не понимал, отталкивался — это скупости. На Головинском по несколько месяцев не получал жалованья, выплачивая рудничные долги, или получал — и из него расплачивался с рабочими. А уж «Социалистический» стал пропастью, только поглощавшей деньги, уголь же выходил плохой, никто его не покупал. С этим Социалистическим рудником Петя замучился до того, что в 32 года стал седеть, отказывало сердце и посещали приступы неврастении — до рыданий.

Пётр Ободовский был так устроен, что не только не уклонялся от ответственности, как очень склонны русские натуры, но напротив: лишь где видел ответственность, хотя б и в стороне, — туда кидался, впрягался и лез на рожон. Он знал, что всякое дело сметит и организует быстрей, точней и успешней другого смежного человека. И все другие тоже быстро угадывали в нём это свойство, и все дружно толкали его на самое трудное. На любом инженерном заседании, съезде, учёном совете несло Ободовского выступить со своими проектами, и проекты эти тотчас всех увлекали, за что его звали то сиреной, то златоустом, и всюду тотчас он был избираем в бюро, в комитеты и на осуществление. Появлялся ли он в иркутском Общественном Собрании, клубе интеллигенции, или в Географическом обществе, — едва послушав ораторов, он не мог не выступить с оспорением и поправками, а после выступления не могли его не избрать!

Богатый, деятельный иркутский мир инженеров, адвокатов и купцов узнал, оценил Ободовского, легко принимал его к себе, но Ободовский не стал им свой, он не мог принять их беззаботности и веселья. Все они жили широко, кутили, азартно играли, иркутские инженерские жёны шили по сорок платьев в год, даже заказывали наряды из Парижа, — Нуся не всякий год могла сшить одно платье. Всё расплачиваясь по векселям за Социалистический рудник, Ободовские стеснились до того, что подлинно голодали, и в Общественном Собрании, среди шумно ужинающих инженеров и адвокатов, тихо сидели с занывающими желудками и лгали знакомым, что недавно обедали дома.

Но Нуся искренно смирилась с такою их судьбой, сжилась и даже, кажется, полюбила её: была в такой жизни вечно сохраняемая молодость. «Не хочу богатеть! не хочу и привыкать!» Усвоила она ясно, что у них с мужем никогда не будет ни достатка, ни покоя, ни досуга, ни развлечений — и уже не зарилась на то. Дело жизни её состояло в одном: быть его женой. И если он вёз из Иркутска на рудник динамит, оформлять же такой груз официально на все предохранности было слишком долго, — то просто вносили динамит в пассажирский вагон, Нуся сади-

лась на роковой ящик и распушенной юбкой прикрывала от кондукторского глаза страшную упаковку. Так на потряхивании и ехала.

Зато постоянная взаимная нежность не покидала их от самого медового месяца. Девственным вступил Петенька в брак и незапятнанным прожил всю жизнь, не зная никакой другой женщины. «Я не требовал от тебя, чего не давал сам.» И уходя в тюрьму, уверенно мог ей завещать: «Ты моя жена, это всё равно, что я сам.» Уговорились они: кто останется жить, возьмёт с умершего себе на палец второе обручальное кольцо.

Рок Ободовского был: избирать пути не общие, всегда свои собственные, всегда поглотительные для сил, иногда и опасные для жизни.

С наступлением же Революции, застигшей Ободовских в Иркутске, этот рок проступил лезвием. Уж теперь-то, когда на Россию, по всей видимости, снизошла пора, званная и моленная честнейшими страдальцами глухих поколений, и уже решительно никто не мог заниматься простой работой или дома усидеть, а всех безудержно несло куда-то шагать, кричать и голосовать, когда распалась будничная связь частиц, и каждая частица в радости и ужасе ощутила как будто свободу двигаться отдельно ото всей материи, и даже нужду непременно двигаться, а как это всё потом установится — не пытаться и вообразить, — теперь с какой же удесятерённостью должен был завиться, закружиться Ободовский, и прежде не знавший покоя! Вся сотрясаемая среда так и выталкивала его на вид и наверх. Но от бесчисленных ораторов и избираемых строго отличался он тем, что не покидал простую *работу*.

И даже когда Ободовского арестовали, его свойство оказываться всегда на виду и устраивать жизнь не свою только, но всех окружающих, нисколько не потускнело: в каждой камере, и в Новой Секретке, он избирался старостой, и старостою же этапа в Александровский централ, и при общем лёгком режиме многое мог устроить, целыми днями устроял: и порядок, и послабленья, и удобства, и связь с волей. И даже в централе вынесло его составлять план тюрьмы для сметы ремонта, и тайком снять копию — и та копия ещё долго потом передавалась по арестантским рукам как руководство к побегу.

Так и при первой же поездке в Петербург навестить родных сразу напоролся Ободовский, что Союз Освобождения созывает всех передовых ехать на музыку в Павловск протестовать против войны, — и (это уже было после Цусимы) конечно поехал тоже, да и с Нусей. На музыку не пускали в картузах или платочках, там собиралась исключительно чистая публика — и тем разительней, как эта чистая, прервавши музыку, стала топать и кричать: «Довольно крови! Долой войну!», — и Пётр надрывался в том же крике. Музыканты убежали с эстрады. Публика стала городить скамейки баррикадами, городовые разбрасывали их — Ободовский и тут завозился дольше всех, и уже бежали все в парк, а ему бежать было непереносимо, и белый от гнева он взял Нусю под руку и повёл её не прочь от фронта выстроенных солдат, но торжественно-медленным шагом вдоль фронта. Мимо ненавистного армейского фронта шёл он бледный, закусив губы, закинув гордо голову. Уже заиграл горнист, уже офицер повернулся давать команду на залп в воздух, но сам терялся и волновался, что беззащитная пара попадает под близкий залп. (Нусе было хоть и страшно, а нисколько не тянула она мужа быстрей. Раз так он решил — вместе с ним хоть и умереть.) «Вы рискуете! Пожалейте вашу даму! Уходите как можно скорей!» — упрашивал офицер Ободовского. Петя же отвечал резко, будто фронт подчинялся его команде: «Я уйду, когда сочту нужным!» И так супруги медленно-медленно, всё медленнее прошли до ворот. И залпа не было.

Уже в эмиграции, в Париже, жили на мансарде, на седьмом этаже, беднее студентов, даже на конке не ездили, экономя на обед, — и тут настигла их сибирская телеграмма, что один сотоварищ отказался, и надо немедленно оплатить тысячу рублей по векселю Социалистического руд-

ника. И хотя ненавистно было *имение* нусиной матери — пришлось обратиться к ней.

Всё-таки революционерить из дворян легче, чем из других сословий.

Эмигрантская жизнь — полуголодная, в поисках заработка, безъякорная, с детскими затеями драматических спектаклей (вот уж на сцене играть — никогда у Пети не получалось), внепартийными вечерами, дружескими бюро труда и кассами взаимопомощи, где-нибудь в Англии замкнутой русской колонией, не зная по-английски двух фраз, — эта жизнь оказалась для Нуси даже самым лёгким и счастливым временем.

Ободовские не пристали к дрязгам, хандре и бездеятельным мечтаниям эмигрантского существования. В Европу бежавши как гонимый революционер, Петя (с одобрения Кропоткина, которого он не партийным лидером считал, а учителем жизни) хотел в Европе работать инженером, но опять-таки не на службе у иностранцев и не для стран тех иных, а — для России, хоть и оставаясь за границей. К счастью, в русских инженерных кругах достаточно знали его, и такую работу ему предложили: обследование европейских портов и монография о них; и пловучая выставка с пропагандой русских товаров; и промышленная выставка в Турине. И там он работал с восьми утра до двух ночи, платить же ему опаздывали на год, а потом: «кредиты исчерпаны, в ваших услугах более не нуждаются». Аплодировали его речам о программе русской промышленности, а всё написанное им не печатали на родине за неизысканием средств — и так не доходило его слово до уха и внимания России.

Сердился Ободовский на соотечественников так, что разливалась желчь и опять, как в юности, трепала неврастения. Так негодовал на Россию, что уже хотел навсегда уехать в Аргентину.

Но загадочным образом: дело человека заложено и ждёт его именно там, где он родился. Происхожденья Ободовский был польского, но к Польше не причислял себя, жил всецело одной Россией.

И едва узналось, что судебное преследование снято, — Ободовские тут же, на убогие франки, соскребённые взаймы, ринулись на родину.

Хотя отечественная жизнь светлела, и как будто разрежалось тёмное и не грозило возвратом жестокое, — а Нусе почему-то совсем не хотелось возвращаться под тяжёлые своды отечества. Где никогда уже не будет так безответственно, как в их эмигрантской жизни.

Предчувствие было у Нуси, да так ей и нагадали: что ожидает их обоих на родине старшный конец.

~~~~~~

И ДАЛЬНЯЯ СОСНА СВОЕМУ БОРУ ВЕЕТ.

~~~~~~

(Продолжение следует)

ПРЕЗИДЕНТУ СССР,
ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ СССР,
ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ РСФСР,
ДЕЛЕГАТАМ XXVIII СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЕЙ, ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ РОССИИ

В последние годы под знаменами объявленной «демократизации», строительства «правового государства», под лозунгами борьбы с «фашизмом и расизмом» в нашей стране разнуздались силы общественной дестабилизации, на передний край идеологической перестройки выдвинулись преемники откровенного расизма. Их прибежище — многомиллионные по тиражам центральные периодические издания, теле- и радиоканалы, вещающие на всю страну.

Происходит беспримерная во всей истории человечества массированная травля, шельмование и преследование представителей коренного населения страны, по существу, объявляемого «вне закона» с точки зрения того мифического «правового государства», в котором, похоже, не будет места ни русскому, ни другим коренным народам России.

Тенденциозные, полные национальной нетерпимости, высокомерия и ненависти публикации «Огонька», «Советской культуры», «Комсомольской правды», «Книжного обозрения», «Московских новостей», «Известий», журналов «Октябрь», «Юность», «Знамя» и др. вынуждают заключить, что пасынком нынешней «революционной перестройки» является в первую очередь русский народ. Представители трех его ныне живущих поколений, начиная от ветеранов Отечественной войны, спасших мир от гитлеризма, представители разных социальных слоев и профессий — люди русского происхождения — ежедневно, без каких-либо объективных оснований именуются в прессе «фашистами» и «расистами» или же — с сугубо биологическим презрением — «детьми Шарикова», то есть происходящими от псов. Это прямо приводит на память гитлеровскую пропагандистскую терминологию относительно русских, «низшей» славянской расы.

Регулярному расистскому поношению подвергается все историческое прошлое России — дореволюционное и послереволюционное.

Россия — «тысячелетняя раба», «немая реторта рабства», «крепостная душа русской души», «что может дать миру тысячелетняя раба?» — эти клеветнические клише относительно России и русского народа, в которых отрицается не только факт, но сама возможность позитивного вклада России в мировую историю и культуру, к сожалению, определяют собою отношение центральной периодической печати и ЦТ к великому героическому народу-труженику, взявшему некогда на свои плечи беспримерную тяжесть созидания многонационального государства.

«Русский характер исторически выродился, реанимировать его — значит вновь (?) обрекать страну на отставание, которое может стать хроническим», — читаем мы напечатанное на русском языке, на бумаге, выработанной из русского леса. Само существование «русского характера», русского этнического типа недопустимо по этой чудовищной логике! Русский народ объявляется сегодня л и ш н и м, глубоко нежелательным народом. «Это народ с искаженным национальным самосознанием», — заключают о русских советские политические деятели и журналисты. Желая расчленить Россию, упразднить это геополитическое понятие, они называют ее «страной, населенной п р и з р а к а м и», русскую культуру — «накраденной» (!), тысячелетнюю российскую государственность — «утопией». Стремление «вывести» русских з а р а м к и homo sapiens приобрело в официальной прессе формы расизма клинического, маниакального, которому нет аналогий, пожалуй, средь всех прежних «скрижалей» оголтелого человеконенавистничества. «Да, да, все русские... люди — шизофреники. Одна их половина — садист, жаждущий власти неограниченной, другая — мазохист, жаждущий побоев и цепей», — подобная «типология» русских нарочито распубликовывается московскими «гуманистами» в прессе союзных республик — для мобилизации всех народов страны, в том числе и славянских, против братского русского народа. Русофобия в средствах массовой информации СССР сегодня догнала и перегнала зарубежную, заоке-

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:

Продолжение романа Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
"Октябрь Шестнадцатого";

"Камешки на ладони"
Владимира СОЛОУХИНА;

В рубрике *"История Отечества: документы и судьбы"*
работу Ивана СОЛОНЕВИЧА **"Дух народа"**;

Статьи Александра ПРОХАНОВА
"Трагедия централизма", "Русский фактор",
"Достаточная оборона";

Николы Б. ПОПОВИЧА
"Советская политика";

Очерк Карема РАША
"Армия и культура".

80 коп.

ИНДЕКС 73274



Наш современник, 1990, № 4, 1—192.